



СЕРГЕЙ ВОЛКОНСКИЙ

Родина



БОМБОРА
ИЗДАТЕЛЬСТВО

Москва

УДК 821.161.1-94
ББК 84(2Рос=Рус)6-44
В67

Волконский, Сергей Михайлович.

В67 Родина / Сергей Волконский. — Москва : Эксмо, 2026. — 448 с. — (1917. Разорванная нить. Личные истории конца старой России).

ISBN 978-5-04-243713-7

«Родина» — воспоминания князя Сергея Михайловича Волконского о России, какой он знал ее с детства и какой увидел в годы великих потрясений.

Он вспоминает усадьбы Фалль и Павловку, семейную историю, Петербург, гимназию и университет, государственную службу, придворную и общественную жизнь, годы Первой мировой войны и революцию. Из частных эпизодов, характеров и наблюдений складывается широкая картина русской жизни второй половины XIX — начала XX века.

Большое место в книге занимают размышления автора об образовании и интеллигенции, сословных отношениях, бюрократии, свободе вероисповедания, культуре, нигилизме, революционном насилии и причинах общественного разлома.

«Родина» была впервые издана как часть трехтомника «Воспоминаний» Волконского. В других книгах — «Лавры» и «Странствия» — автор обращался к театру, культурной жизни Европы и своим путешествиям по Америке, Японии и Юго-Восточной Азии. Здесь же в центре его внимания — Россия.

За строками о войне, революции и разрушении прежнего уклада чувствуется глубокая любовь к родной стране — к ее природе, культуре, языку, людям и памяти. Именно память становится для Волконского способом сохранить связь с тем, что изменилось безвозвратно.

УДК 821.161.1-94
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-04-243713-7 © Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2026

ОГЛАВЛЕНИЕ

От автора	7
ГЛАВА 1. Фалль.....	9
ГЛАВА 2. Павловка.....	32
ГЛАВА 3. Гимназия и университет	56
ГЛАВА 4. Единомышленники	83
ГЛАВА 5. Из чиновничьего прошлого	106
ГЛАВА 6. Свобода вероисповедания	117
ГЛАВА 7. Княгиня.....	149
ГЛАВА 8. Сферы	174
ГЛАВА 9. Фижмы.....	200
ГЛАВА 10. Глушь.....	221
ГЛАВА 11. От нигилистов до большевиков	257
ГЛАВА 12. Годы войны	278
ГЛАВА 13. Развал	304
ГЛАВА 14. Озверение.....	347
ГЛАВА 15. Разрушение	365

От автора

Родина! Какое сложное понятие и, несмотря на сложность свою, какое сейчас неуловимое. Мы любим родину, — кто же не любит родины своей? Но что мы любим? Что? То, что было? То, что есть? Нет. То, что будет? Мы не знаем. Страну нашу? Где она? Клочки одни. Народ наш? Где его лицо? За темнотой лица не видать. Думы нашей земли? В чем они выражаются? Голос нашей земли? Где он звучит?

И тем не менее называю эту третью часть моих воспоминаний — «Родина».* И когда кончу, тогда видно будет, из чего составлено это понятие. Видно будет потому, что буду говорить с искренностью. Не буду стараться *составлять* понятие родины, а предоставлю тому, кто меня будет читать, — *вывести* его.

И если отдельные выводы тех, кто прочитает, окажутся соответственными душе каждого и соответственными между

* Первая и вторая части мемуаров Волконского называются «Лавы» и «Странствия». В «Лаврах» собраны воспоминания о театре, а в «Странствиях» — наблюдения за культурной жизнью Европы рубежа веков и впечатления от поездок по всему миру. — *Прим. ред.*

собой, тогда это соответствие и слияние этих соответствий и будет наша Родина. Она будет не реальна, но она будет сильна в своей метафизичности; она не будет вне нас, но тем сильнее будет в нас; она лишится узости земных границ и получит беспредельность личного сознания.

И если, отрешаясь от земных условий, от привязанности к месту, мы в творческой памяти воссоздадим то, чего нет; если в тех горних высях, куда укрылся наш дух, сознание наше подернется влагой бесполезных сожалений, мы скажем вместе с поэтом: «Нет у нас родины, нет нам изгнания» — и на ровной поверхности когда-то возмущенно клокочущей души ощутим великое равновесие опрокинутого отражения.

ГЛАВА 1

Фалль

Фалль, дивный Фалль под Ревелем, на берегу моря. Под знаком Фалля прошел расцвет моей детской души, и на всю жизнь «Фалль», звук этого имени, остался символом всего прекрасного, чистого, свободного от реальной тяжести. Он живет меня бодрящей лаской морского воздуха, смолистым запахом соснового бора. Встают в памяти крепкие очертания нависших скал, в закатах пылающее море, зеленый мягкий мох во влажной тени хмурых елок и крепкий серый мох на сухом песке под красными соснами; бурливая, в глубоких берегах река, далеко расстилающиеся долины и холмы разделанного парка; огромные со скорченными ветвями каштаны, тонкие перистые лиственницы; журчащая вода и мшистый камень, в тиши подлесной приветливая черника, улыбчивая земляника; дорожки, выющиеся, убегающие, каменными лестницами поднимающиеся, спускающиеся; беседки на горах, над бурливой рекой, над зелеными низинами смотрят на далекое синее море или на холмистую кудрявость лесную, из-за которой розовая башня поднимает свой сине-желтый флаг...

О, этот дом, в котором пахнет деревянною резьбой, сухими и живыми цветами! Приветливая готика, уютная нарядность; дивный вид с террасы, из каждого окна. И все: воздух, свет, запахи, портреты, книги, и тишина, и говор — все укутано немолчным шумом водопада...

Спальня моей бабушки выходила окном на водопад. Мебель готическая, белая с черным; ситец светлый с красными цветочками; портреты, вазочки, воспоминания. По всему Фаллю прошлое к вам прикасается, ласково окликает. Из спальни тут же выход в маленькую восьмиугольную башенную комнату — миниатюры, бюро с вензелем императрицы Марии Феодоровны, ее портрет пастелью, писанный в Версале, и чудный вид на внизу шумящую и пенящуюся реку, на дальний парк и сквозь просеку светящееся море.

Море сияет далеко, река шумит глубоко, а окно высоко, и между ними воздух и пространство...

Встают картины детства... Мне три года. На ступенях каменного крыльца старая старушка англичанка: мисс Смит, гувернантка моих теток, двоюродных сестер матери, показывает мне, как пальцы складывать, чтобы выходил домик; указательный опускается и образует прилавок, мизинец — лавочник, и два больших пальца — покупатели... В низком кабинете, во флигеле, в глубоком кресле старец с белой бородой, в черном бархатном халате курит длинную трубку: мой дед-декабрист... Дядя Петр Григорьевич Волконский, брат моей матери, посадил меня на лошадь и водит вокруг круга; мне боязно. После второго круга снимает меня, спрашивает: «Ну, как?» — «Не совсем ловко...»

Купанье в море! В тележке гурьбой, на сене, покрытом полостью: в тележку запряжен или Фалль, или Ястреб — низкорослые лошадки, темно-бурые, а хвост и грива

белые... Лесом едем. Поперек дороги корни; трясемся, смеемся. Лошадью пахнет в пахучем лесу... Вот последний пригорок, и за ним обдаст нас шум морской. Спускаемся под гору; колеса в песке вязнут; серая морская трава по бокам дороги. Раздеваемся в дощатом «купальном домике»; босиком по песку вприпрыжку через колючую траву в воду! Волны набегают, обдают. Гладкое песчаное дно, ровное, крепкое. Иногда под подошвой легкое щекотанье — то маленькая камбала высвобождается из-под ноги. Никогда уже нигде я не мог после этого купаться — только море или океан; ни реки, ни пруда не выносил, не мог выносить, чтобы нога уходила в мягкое, вязкое, — это противоречило аристократичности первых впечатлений...

Однажды после купанья мне сделалось дурно; брат с гувернером вывели меня из домика на воздух. Я лишился сил; я лишился сознания, но все время слышал шум моря и ветра. Когда возвращался в сознание, это было постепенно, и в этой постепенности был один блаженный миг — перед полным возвращением. Чувство недомогания прошло, шум волн прибывал к моим ушам, теплый ветер ласкал мое голое тело, трава колола ноги — я чувствовал свое бессознательное слияние с природой. И всегда впоследствии, вспоминая этот миг, я думал, что и королева, наверное, знает, что такое счастье... Возвращение с купанья — пешком; губы и пальцы синие от черники... По дороге в лесу огромный камень; обчистили его однажды от моху, и все дети захотели высечь на нем свои имена. Принесли молотки, долота, но работа оказалось не так легка, как детям казалось...

В Фалле пробуждается любовь к надписям, к закреплению в камне; там несколько памятников. Большая глыба камня над высоким берегом пруда увенчана шлемом, щитом и мечом; памятник поставлен отцом моей бабушки, основателем Фалля графом Бенкендорфом своему

брату Константину. Последние слова надписи: «Он кончил службу, кончив жизнь». В Фалле привыкаешь надписи читать. Много в саду чугунных скамеек: знакомые, кто приезжали, дарили на память скамейку со своим гербом и просили поставить на любимом месте. Читать девизы этих гербов, — какое развлечение! Тут цветы и земляника, а тут же латинская надпись. «Pro fide et patria» («За веру и отечество») были мои первые латинские слова... Рано вливался романтизм в мое душевное настроение...

Вечер, сумерки, ламп еще не зажигали. Бабушка на своем Эраре играет — грустно, протяжно, а все-таки как-то утешительно. Слушаю в блаженной полудреме; в левой руке жалоба как будто повторяется... Как-то раз она сказала, что это называется вальс, что это сочинил Шопен какой-то. Но тут я еще не знаю, что это, и сижу я не в гостиной, а в соседней, «колонной», комнате. В большие окна смотрит белый вечер северной весны. Что-то застывшее в природе — туда не хочется. Как-то смиренно там, за окном. Только самые верхние листочки на деревьях трепещут, темные против белого неба. Большой каштан, тяжелый, вырисовывается над обрывной пустотой; его посадила, говорят, старая тетка Захаржевская, тетка моей бабушки; она иногда гостит в Фалле, она такая же большая и тяжелая, как ее каштан; она курит особенные папироски из соломы: пахитоски называются; от нее хорошо пахнет...

Там под обрывом растут те красные цветы метелкой, про которые мать рассказывала, что, когда она была маленькая, ей ее бабушка говорила, что, когда она была маленькая, ей одна древняя старушка говорила: «Всякий раз, что увидишь этот цветок, вспомни обо мне». И я всю жизнь, когда его видал, вспоминал и мою мать, и прабабку графиню Бенкендорф, которой никогда не видал, и древнюю старушку, которой имени не знаю. И еще на днях, в июне 1921 года, в садике одного дома на Сивцевом

Вражке увидал я этот цветок и мыслью пролетел от нашего двадцатого столетия сквозь девятнадцатое в восемнадцатое, когда древняя старушка говорила маленькой моей прабабушке, чтобы помнила ее...

Те цветы под неприступной крутизной или внизу у воды; к ним надо снизу подходить, а здесь, в «колонной» комнате — между колоннами и на окнах жардиньерки с тепличными цветами. Какие среди них красивые — как глубокие рюмки, лиловые и темно-малиновые; говорят, глоксинии зовутся. Старик садовник в прошлый раз брал лист глоксинии, разрезал пополам и каждую половинку листа втыкал в ящик с песком, и через несколько дней каждый кусок листа давал корень вниз и росток вверх. У старика садовника Риу внучка и внук, Валли и Рихард; мы с ними играем; один камень большой около пруда я назвал «Wally's Stein», а мать мне сказала, что это напоминает одно очень знаменитое имя...

На дворе совсем уже застыло все, недвижно, как стеклянное; только снизу, с долины, туман поднимается.

Там, на той стороне реки, на лужайке под горой стоит из бронзы человек — Аполлон называют его; не видеть, на чем он стоит, — облака у ног его, он точно на небе или небесный на земле... Я прильнул к окну, — холодное. Красиво терраса убрана цветами; но все стеклянное, без трепета. И сколько лет уже с террасы белокаменные львы вперяют недвижные очи в недвижные ночи...

А у бабушки в левой руке жалоба продолжается, но такая покорная. А на меня смотрит с окна большая мраморная дама с покрывалом; под ней на бронзовой доске написано, что это императрица Мария Феодоровна, «благодетельница всех и наша».

Вносят лампы. Больно, неприятно; все рассыпалось. Но и чай готов в столовой. Длинный-длинный стол,

и простокваша, и чухонский серый хлеб «сэпик». В большой столовой на полках много старого серебра — кубки, ковши. А на стене, над буфетом, висит картина, изображающая древнюю старушку: и положила голову к ней на колени маленькая девочка в рубашечке. Это портрет женщины, которую прадед мой, граф Бенкендорф, спас во время наводнения, воспетого в «Медном всаднике», а девочка — сестра моей бабушки, впоследствии княгиня Кочубей, владелица Диканьки... Тогда-то я этого еще не знал, но то, что узнаешь впоследствии, как-то просачивается в прошлое, и даже когда мы думаем о тех, кого нет, мы видим их в прошлом умершими.

Трудно разграничить в памяти моменты знания, уловить ту точку, в которой кончилось «не знаю» и начинается «знаю», ту точку, когда именно было: «узнал»...

Много я узнал в Фалле, без усилия, без чтения — благодаря Фаллю, из внутреннего соприкосновения с внешними предметами, из того, что создавали вокруг нас мельком брошенное замечание бабушки или матери, рассказ, воспоминание, вздох или усмешка...

В «колонной» комнате стояло длинное старое фортепиано, несуразное и с совершенно стеклянным звуком; но его берегли — оно было под стать всей прочей готической мебели, и за ним пела, так говорили мне, знаменитая певица Зонтаг, в замужестве графиня Росси; она проводила лето в Фалле; в парке есть и скамейка ее имени. На этом неуклюжем фортепиано вечерами я с матерью сперва учился, а впоследствии играл в четыре руки; переиграли Гайдна, Моцарта, Бетховена, Вебера — каким стеклянным звуком и по каким старомодным изданиям!.. На этом же фортепиано играл однажды пасторальную симфонию с великим князем Константином Константиновичем, впоследствии К. Р.,

который кадетом приезжал в Фалль с прочими учениками Морского училища.

Несколько раз приезжали к нам кадеты. Как это было весело! Корвет «Варяг», клипер «Жемчуг» бросают якорь перед Фаллем; шлюпки на воду, а мы уже давно заметили, бежим навстречу. Высаживается человек семьдесят — кадеты, офицеры, а впереди адмирал Брылкин. Начинается гулянье, катанье, а дома готовят угощение; кадетам под каштанами, а адмирал, в эполетах, с лентой через плечо, ведет бабушку к столу в столовую... Они платили нам за гостеприимство: мы ездили к ним в Ревель, жили на военных судах; в Балтийском порту видели маневры с пушечной пальбой. Раз вернулись из Ревеля на парусной шхуне «Компас».

Никогда не забуду одного пробуждения. Я спал в каюте на «Варяге» сладким детским сном. Какой-то грохот пробуждает меня, и, прежде чем успеваю сообразить, что это барабанный бой, я погружен в тихое блаженство хорового пения: на палубе команда поет «Отче наш»; и в окно каюты ослепительное серебро морского отражения шлет лучи победного светила. О пробуждение! Вы любите утреннее пробуждение? Возглас Брунгильды: «Heil dir, Sonne, heil dir, leuchtender Tag!» Пробуждение! Залог будущего, залог того, что прошлое не прекратилось, залог возобновления и обновления. У какого-то француза читал: «Пробуждения детства торжествующи, пробуждения зрелого возраста унылы, пробуждения старости мрачны». Нет, не заметил я на себе этих разниц; и посейчас еще торжествую, когда утром просыпаюсь, и посейчас вскакиваю, потому что радостно день начинать, а в особенности когда хорошая погода или на столе рукопись начатая дожидается. Но такого пробуждения, как тогда на «Варяге», не помню.

Морская жизнь полна живописности, а эта морская живописность, вливающаяся в фалльскую живописность, — какая красота... Когда они уходили в море, вдруг

пустело... Я сидел в «колонной» комнате и считал квадраты на паркетной шашкою из дуба и черного дерева... А бабушка рассказывала, что вот у этой двери, когда она была девочкой, стоял и водил смычком по своему Маджини знаменитый Львов, автор «Боже, царя храни»; и его скрипка звучала как оркестр. Он был адъютантом моего прадеда Бенкендорфа и сколько хороший музыкант, столь хороший инженер. Есть в Фалле через реку Львовский мост: один пролет покоится на железных стержнях, которые концами уходят в берега; легкость удивительная. Николай I, когда увидел этот мост, сказал: «Львов через реку перекинул свой смычок».

С северной стороны дома, на лужайке, — роща, каждое дерево которой обнесено решеткой с надписью. Это деревья, посаженные членами императорской фамилии, начиная с Николая I.

В 1871 году приезжала в Фалль цесаревна Мария Федоровна. Как запомнились мне подробности этого посещения. В шесть часов утра приехали два барона, Мейендорф и Буксгевден, предупредить, что цесаревна приедет из Гапсала к двенадцати часам; с ней свиты человек шесть. Мать моя поднялась и за собой подняла весь дом. Все закипело, заработало; когда бабушка проснулась, ей только сообщили, что все готово к приему высокой гостьи. Помню, что послали на башню какого-то эстонца сторожить, с тем чтобы уведомил, как только он увидит экипажи по дороге. Но этот пентюх не понял возложенного на него поручения или, вернее, понял его так, что он должен махать, когда увидит. И вот он на башне неистово махал, в то время как мать с бабушкой спокойно разговаривали в гостиной. Уже показалась в воротах коляска с казаком на козлах и за ней другая, когда я побежал в «колонную», чтобы запыхавшимся голосом крикнуть

традиционное: «Едут!» Мать оказалась на нижней ступеньке крыльца, когда цесаревна выходила из коляски. Они поцеловались, потом цесаревна поцеловала бабушку. Приехали с ней: гофмейстерина княгиня Юлия Феодоровна Куракина, фрейлина графиня Апраксина, фрейлина императрицы Марии Александровны Жуковская, дочь поэта, генерал Стюрлер, князь Суворов и секретарь цесаревны Оом. Хорошо помню платье цесаревны — серой парусины, отделанное полосой красного бархата под кружевной прошивкой. Помню, у матери было белое легкое летнее платье и шляпа кружевная с листьями и черными ягодами; бабушка была в сером шелковом.

Пока гости пили чай, мы, дети, в саду около дома ждали выхода: неужели они пойдут гулять, а нас не позовут? Вышло все общество с террасы: впереди моя мать с цесаревной, а бабушка осталась дома. «Сережа! Петя!» — кликнула мать. Вмиг мы выбежали и, как два пажа, очутились за цесаревной. Пошли дорожками вниз, перешли через Львовский мост, поднялись к старой развалине над крутым берегом реки; спустились к другому мосту, который дети называли «длинный мост», хотя он был не длиннее, а только уже прочих; поднялись к «царской беседке» с бюстом Николая I в память его посещения и оттуда пришли к воротам, которые ведут в лес, где нас ждали экипажи для катания по парку.

Цесаревна была мила, в радостном, почти детском настроении духа. Она рвала цветы направо и налево от дороги; но вдруг увидела землянику — вот уж прямо как ребенок обрадовалась. Заметив это, мы с братом стали рвать землянику и подавать ей. Очень нас поразило, что она съедала все ягодки, даже самые зеленые... Когда мы сходили по крутой дорожке, что ведет от «царской беседки», я услышал, что она спросила мою мать (*они говорили по-французски*):

— Вы его не видели?

— Нет еще.

— Я вам его покажу.

Она остановилась и стала раскрывать под шеей медальон. В перчатках, без зеркала трудно было; мать моя помогла:

— Вы позволите? — раскрыла медальон и воскликнула: — Какой красивый мальчик!

— Кто это, мама? — спросил я.

— Это мой сын, — сказала по-русски цесаревна.

— Это первые русские слова, которые я слышу от вас, — сказала моя мать.

Когда подошли к экипажам, мать с цесаревной сели в первый двухместный шарабан, остальные расселись в трех других шарабанах. Мать взяла вожжи и кивнула мне, чтобы я сел на задние козлы. Мы поехали. Какой нарядный звук — звук колес по мелкому гравию. Фалльский парк огромный; в нем пятьдесят четыре версты дорожек. И как разнообразно: по берегу моря, сосновыми рощами, по зеленым лугам, вдоль реки, над рекою, спуски и подъемы. Я не знаю ничего, что мог бы сравнить с фалльским парком по красоте и прелести...

Цесаревна очень восхищалась, то и дело просила остановиться, чтобы любоваться видом или нарвать цветов.

У нее на коленях, когда мы отъехали, лежала синяя кофточка с бронзовыми пуговками с якорями. Мать взяла кофточку, положила мне на колени для хранения. Я заметил в кармане запечатанный конверт с красивым вензелем; ужасно мне захотелось увидеть ее почерк, а также — кому адресовано письмо. Всю дорогу меня мучило это желание. Но я не посмел перевернуть конверт. Почерк императрицы я впоследствии видал, но кому было адресовано то письмо, останется навсегда неразгаданною тайной...

Когда приехали домой, был обед. Мы, дети, в этот день обедали в доме управляющего, Лильенкампа... После обеда цесаревна лопатой, которой сажал свою березу Николай I, посадила каштан. Когда она очищала свои перчатки от земли, мать вынула у меня из кармана носовой платок и им обтерла ей руки.

Вот все, что могу припомнить. Конечно, после отъезда было много разговоров, делились впечатлениями дня. Заметил, что когда говорили о Жуковской, то как-то понижался тон; мать сказала: «Она, бедная, конечно, садилась отдыхать на каждую скамейку». Много, много лет спустя я узнал, что она в то время была беременна от великого князя Алексея Александровича, что только за несколько дней перед тем они просили императрицу разрешить им повенчаться, но разрешения не получили. Она родила сына Алексея, который получил фамилию графа Белевского. Хотя я в то время ничего не понимал, но это-то я понимал, что не надо спрашивать старших, о чем они говорят, когда они говорят этим тоном. Только почему старшие не могут подождать, чтобы дети ушли, если им хочется говорить о таких вещах, о которых дети не имеют права переспросить?.. Вечером того же дня — сейчас вспоминаю, что это было 10 июля 1871 года, — когда мы с братом ложились спать, пришел к нам в комнату старый дворецкий Николай Рыбаков поделиться и своими впечатлениями. Он говорил вполголоса, трагическим шепотом:

— А какое упущенье!..

— Что такое?

— А все Эдуард виноват. (Это другой слуга.)

— Да что же случилось?

— Да ведь мы с ним уговорились, что он будет вилками и ножами заведовать, а он вот какой оказался недосмотрительный.

— Что же?

— Обнес я горошек. Смотрю: цесаревна не ест; на тарелке горошек, а сама не ест. Что, думаю, такое? Гляжу: а вилки-то у нее нет. И ведь не спросила, — вот какая нежная!

Это была единственная задоринка в церемониале этого сложного дня.

В Фалльском доме, таком светлом, приветливом, есть одна комната, в которую мы, дети, входили с некоторым страхом, — мрачная, молчаливая, в которой никогда никто не сидел. Это был кабинет моего прадеда Бенкендорфа. Перед большим письменным столом большое с высокой спинкой кресло; на столе бронзовые бюсты Николая I, Александра I, родителей Бенкендорфа. Вообще много бронзы — модели пушек, в маленьком виде памятники Кутузову и Барклаю де Толли; пресс-папье — кусок дерева от гроба Александра I, обделанный в бронзу, увенчанный короной. Много портфелей с гравюрами, планами; высокие шкафы с книгами, медали в память двенадцатого года. «Царей портреты по стенам».

Висела там известная акварель Кольмана — декабрьский бунт на Сенатской площади: бульвар, генералы с плюмажами, с приказывающими жестами, солдатики с белыми ремнями по темным мундирам, и в пушечном дыму памятник Петра Великого. Как любопытно думать, что стоял перед этой картиной, смотрел на нее мой дед-декабрист, когда по возвращении из Сибири проводил лето 1863 года у тещи своего сына... В этой комнате все вещи как-то особенно молчали. Там пахло стариной, большей давностью, чем в остальном доме; там всегда хотелось спросить кого-то: «Можно?» А между тем там никогда никого не было. Из единственного окна виден водопад; на той стороне реки, на горе сквозь деревья виднеется «изба» — дачный домик, который одна старушка, баронесса Милинька Саккен, называла «das Schweizerhaus im rassischen Stil» (швейцарский домик в русском стиле).